

РАЗСКАЗЫ ДЛЯ ДѢТЕЙ МЛАДШАГО ВОЗРАСТА,
УДОСТОЕННЫЕ ПРЕМИИ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ФРЕБЕЛЕВСКАГО ОБЩЕСТВА.

ЧТО
КОМНАТА ГОВОРИТЪ.

РАЗСКАЗЪ
В. П. АВЕНАРИУСА.

ИЗДАНИЕ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ФРЕБЕЛЕВСКАГО ОБЩЕСТВА.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ТИПОГРАФИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ.
(Вас. Остр., 9 лин., № 12.)

1880.

Цѣна 50 коп., съ пересылкою 55 коп.

Что комната говорит: Рассказ для детей //Типография Императорской
Академии Наукъ, С.-Петербург, 1880
FB2: "a53 ", 16-02-2021, version 1
UUID: 0C69497C-E220-4683-8F7A-5214CAF7D278
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Василий Петрович Авенариус

Что комната говорит

Содержание

| | |
|----------|-------|
| I..... | .0006 |
| II..... | .0009 |
| III..... | .0014 |
| IV..... | .0017 |
| V..... | .0022 |
| VI..... | .0027 |

ЧТО КОМНАТА ГОВОРИТЪ.

РАЗСКАЗЪ ДЛЯ ДѢТЕЙ

В. П. АВЕНАРИУСА.



С. ПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ.

(Вас. Остр., 9 лин., № 12.)

1880.

Василий Петрович Авенариус
ЧТО КОМНАТА ГОВОРИТ
Рассказ для детей

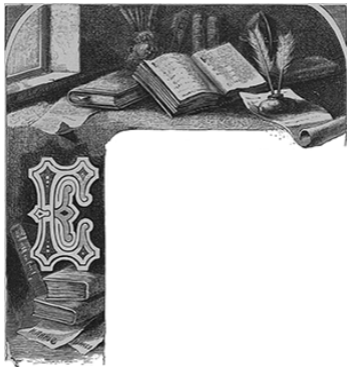
*Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 24
Октября 1879.*



I

Еще ночь: кругом в детской почти ничего не
видать. Но Ване не спится. То на один бок
повернется, то на другой, то кренделем свер-
нется, то опять ножки от себя врозь оттолк-
нет. Уф, как жарко! Верно, няня вчера слиш-
ком много дров в печку положила... Он со-
рвал с груди одеяло и руки на подушку за го-
лову закинул.

А все не спится! В голове точно мельница



стучит, думается без конца о том, о другом. Что же это с ним? — А вот что. Ваня — мальчик вострый; все-то ему нужно знать, всех выпрашивает: и отца, и мать, и няню, и старшую сестрицу свою: «Почему это так, а не этак? Из чего это сделано, да откуда берется?» И накопилось у него теперь в голове всякой всячины столько, что места уже нет, вон выпирает, спать не дает.

Вдруг Ваня весь так и всполохнулся. Что это такое? Точно кругом какой-то шорох и стук, какие-то странные деревянные голоса... Сердце в груди у него сильно забилося. Дохнуть не смея, стал он из-за края подсматри-

вать, подслушивать.

Вот так диво! Ведь это стулья, просто-таки стулья разговорились меж собой! Ножками топчат, спинками шевелят да так и тараторят...

— Позвольте, господа! Всем зараз нельзя, — перекричал тут других один стул. — Все мы один как другой: спорить, кажется, не о чем. Дайте мне, господа, за всех сказать то, что у каждого на душе!

— Говори, говори! Пусть говорит! — зашумели все стулья разом.

— Мы первую нашу молодость вспоминали, — начал стул. — Ах, да! Славное было то время, когда мы еще березками в лесу стояли. Солнце нас грело, дождик поил, птички в верхушках наших гнезда вили и песни пели. Приходили к нам погулять деревенские девушки и ребяташки за брусникой, за грибами; ходят да вдруг остановятся и всею грудью вздохнут: «Какой от берез-то этих дух чудесный!» Помните, господа, а?

— Еще бы не помнить! Как не помнить! — отвечали опять все стулья.



— Да вот же, как выросли побольше, надо-ело нам на одном месте стоять, ветками шевелить; захотелось куда-нибудь подалее, свет поглядеть. Точно дома не лучше, чем где на свете. И дождалось! Пришли крестьяне с топорами, всех нас под корень подрубили — то-то больно было! Сучья на дрова изрубили, а толстые стволы в город к столяру отвезли. Стал нас столяр пилой пилить, топором тесать, стругом стругать; стал точить да сверлить на токарном станке, куски прилаживать да клеем склеивать, пока не смастерил стулья. Вделал потом еще каждому в середку плетенку из камыша, навел нас краской и лаком — наконец-то совсем поспели! Чистенькие, гладенькие, ножка в ножку, спинка в спинку, хваты, что солдаты; будто такими и на свет уродились. А ведь чего-чего не натерпелись! Были тоже в школе, да в какой! Зато же мы и в чести у людей: устанут — сейчас к нам, присядут, развалятся. Ура!

— Ура! — подхватили все стулья.

— Нельзя ли потише, господа? — сказал тут стоявший между стульями стол. — В чем честь-то? Что задом к вам повернутся да пря-

мо на лицо сядут? Если кому хвалиться, так уж мне! Ко мне они садятся всегда лицом, ставят на меня все, что жаль на пол положить. А отчего? — Оттого, что я не из простой березы, как вы, а из цельного ореха; оттого, что лицо мое гладко и светло, как зеркало: столяр меня не просто лакировал, как вас, а пемзой и политурой оттирал, полировал. И людей-то жизнь редко когда так полирует. Мы тут двое только родные братья: я да вон шкаф платяной, — тоже из цельного ореха да весь полирован.

— Ну да! — усмехнулся тот же стул. — А зачем же он спиной к стене прижался, шкаф твой? Будто мы не знаем, что спина у него не только не полирована, но даже не ореховая, а сосновая, из самой простой сосны.

Высокий, пузатый старик-шкаф до сих пор молчал. Теперь и он не стерпел насмешки забияки-стула.

— Не тебе бы, молокососу, говорить, не мне бы, старику, слушать, — проворчал он. — Разве сосна не такое же дерево, как орех или береза? Только попроще маленько. Кто же спину мою видит? Ну, вот она, по-домашнему,

и одета проще. Да и важно не то, как кто одет, а что он сам есть, как держит себя. Я же самый верный друг дома: что в меня положат, то и сохраню, — ни пыли не дам тронуть, ни моли съесть, ни вору украсть.

На пол звякнуло что-то, и зазвучал тонкий и звонкий голосок. Это кто же? — Ваня тихонько приподнял голову, чтобы лучше разглядеть. Эге! Это ключик, которым запирают шкаф, выскочил теперь из замка.

— Как вы, деревянный народ, разважничались, — сказал ключ. — И ты, дружище шкаф, туда же! Хоть мы с тобой и давно дружны, но дружба дружбой, а служба службой. Без меня, без ключа, согласишься, и ты бы мало значил: и пыль, и моль, и вор бы забрались. Я мал да удал — и не из дерева вырезан, а из железа выкован. Дерево-то и хрупко, и ломко, и горит, и гниет, а железо и тягуче, и гибко, и прочно. Нас, братьев-металлов, много — не перечешь. Золото да серебро из всех нас знатнее, но железо всего нужнее, везде пригодится.

— И мы ведь железные, и мы тоже! — крикнули сверху вбитые в стену гвозди.

— И вы, братцы, — сказал ключ. — Неказисты вы, правда: один стержень да головка. А сколько ведь на шею вам навесишь! Но по-

чтеннее всех нас все-таки матушка-кровать: она от трудов и забот покоит. Эй, матушка! Не расскажете ли про наше железное житье-бытье?

Ваня с испугу чуть не свалился с кровати: кровать под ним вдруг заходила и внятно закрипела:

— Ох, детки мои! — скрипела кровать. — Род наш железный не от мира сего. Родина наша не здесь, над землею, а глубоко в земле, в горах. Лежали мы там долго — сотни, тысячи лет, лежали безобразной каменной грудой, рудою, и была вокруг нас вечная ночь, вечная тишь. Редко-редко когда пробьется к нам сверху дождевая вода, прожурчит что-то — не разберешь даже что, — да и вон поскорей. Но люди добрались, докопались до нас! Ростолкали руду, потом засыпали в большую доменную печь вперемешку с углем: руды да угля, опять руды и опять угля. А снизу-то огня подложили, да давай мехами поддувать. Не в огонь мы попали — в полымя! Расплавилась руда, как сахар на свечке, стекла вниз, в яму. А там сбоку дыра. Раскрыли дыру, выпустили железную грязную руду,

шлак, а на дне-то что осталось? Остался чистый тяжелый металл — железо. С виду и человек иной грязен и непригляден, а внутри у него все же есть чистый металл — доброе сердце. Ну, раз мы железом стали, из нас можно было выковать что угодно. Выковали и кровать, и ключ, и гвозди: выковали сотню разных полезных вещей. И если люди теперь хотят похвалить кого из своих за его крепкое здоровье, за его твердый нрав, то говорит: «О, это железная натура! Это железный человек!»

IV

А теперь-то кто из угла отвечает кроватке? И пыхтит, и сопит... Печка, да, старуха-печка!

— А меня-то, сударыня, что же забыли? — говорила она. — Хоть и не родная вам тетка, а все, чай, двоюродная. Снаружи-то тоже совсем железная, а внутри только из кирпичей сложена; но кирпич-то, правду сказать, разве не земляной же природы, как и вы? Из песку да глины смешаны да спечены, как пироги из теста. Да и как зарумянились-то! Совсем докрасна. Теперь их ничем не проймешь: глотаю же я вот каждый день сколько огня, всю кирпичную внутренность, кажись, должно бы прожечь, а ничего-таки и знать не знаю. Только согреешься изрядно да дымом в трубу отдуваешься. А люди-то меня как любят: чуть с холода — все ко мне да ко мне, погреться около меня! Без тепла моего им и жизнь бы не в жизнь.

— Тепло теплом, — сказала стоявшая у печки на табуретке умывальная чашка, — но для здоровья им нужно и тело свое в чистоте

держатъ. А эту деликатную службу мы вот с братцем-кувшином справляем. Сами ведь деликатной породы: хоть тоже из глины, да из тончайшей — фаянсовой.

— А знаешь ли еще, сестрица, как мы с тобой на свет родились? — спросил кувшин.

— Еще бы не знать! — отвечала чашка. — Как теперь помню: было то в мастерской на фаянсовом заводе. Лежала я еще комком глины. Вдруг мастер хватъ меня, шлепнул на круглый столик, завертел его ногою, а руками давай мять да тискать. Верчусь, верчусь, со всем закружилась: чую только, как середка у меня вдавилась, края изогнулись. А он уж кончил, поставил меня на скамейку. Оглядела я себя, — сама себя не узнала: вместо безобразной глиняной глыбы я стала красивой умывальной чашкой! Смотрю: мастер опять завертел свой столик, мнет и давит комок глины. «Что-то теперь выйдет, — думаю, — что-то выйдет?» И что же вышло?

— Я вышел! — подхватил кувшин.

— А то кто же? Как увидала тебя, признаться, так обрадовалась... Точно сердце мне сказало, что ты мне брат родной. Как только ма-

стер, обернувшись, нечаянно толкнул скамейку — я прыг к тебе навстречу.

— И не допрыгнула! — засмеялся кувшин. — Он тебя на лету и поймал, а то бы ты больно расшиблась.

— Смейся, смейся! — сказала чашка. — Сам-то ведь тоже с радости чуть не выскользнул у мастера из рук, да он тебя за ручку удержал: «Куда! Куда! Людей посмотреть и себя показать? Да на вас, милые мои, и глазури-то нет, а без глазури кто же вас к себе примет?» Сунул обоих в каленую печь и солью посыпал. От жары мы насквозь прокалились, а соль нас кругом глазурью залила. Тогда он вынул нас из печи: «Ну, теперь гуляйте вместе по белу свету хоть до скончания века. Только, чур, не ссорьтесь, не отбейте друг дружке глазури. Глазурь — первое дело».

— А мы вот со стаканом насквозь из глазури, насквозь из стекла, — подал теперь голос со стола графин с водой. — Вы моете людей снаружи, а мы изнутри; затем-то мы так и прозрачны: пусть всякий тут же видит, что пьет.

— Так, стало быть, вы просто из соли? —

сказал кувшин.

Графин звонко расхохотался:

— Эх, батенька, куда хватил! И ваша-то глазурь разве просто из соли? Для глазури, милый мой, две вещи вместе в огне сплавить надо: какой-нибудь землицы да какой-нибудь соли. Ваша землица — глина, ваша соль — обыкновенная поваренная, вместе и оглазурились. Наша землица — кремнистый песок, наша соль — промытая зола, поташ, в огне они живо в прозрачную жижку сплавились — в жидкое стекло. Видал ты, я думаю, как хозяйский сынок наш, Ваня, соломинкой мыльные пузыри пускает?

— Кто в жизни мыльных пузырей не видал! — сказал кувшин.

— Ну вот. Точно так же и наш мастер на стеклянном заводе: возьмет длинную железную трубку, обмакнет в стеклянную жижку и ну дуть с другого конца. Дует, дует, а стеклянная капля на кончике раздувается все больше, настоящим пузырем. Пренеприятное чувство, когда тебя так раздувают, скажу прямо! А он, дуя, еще вертит тебя вокруг головы, и тянешься ты поневоле, тянешься, как быть надо

графину. Тогда поставит тебя на горячую каменную плитку, горячую — чтобы тебе не простудиться и не лопнуть, и чикнет ножом по горлышку, чтобы ты от трубки отстал. Уф! Точно петлю с шеи сняли. Потом железным прутиком еще каплю стеклянной жижи возьмет и губы тебе наведет, наконец, для красы уже, обведет тебе вокруг плеч и шеи стеклянное же ожерелье...

— А я-то... — зазвенел тут рядом с графином стакан.

— Что ты? — строго перебил его графин. — Ты, братец, только полграфина или даже полбутылки: разрезали бутылку пополам — и все тут. Так вот как, милостивые государи! Мы, народ стеклянный, хоть и слабы, хрупки, стукнешь нас неосторожно или (чего Боже упаси!) уронишь — в куски, вдребезги разобьемся, зато же и чувствительны, отзывчивы: только пальцем щелкни — голос подадим, зазвеним!

Справа, слева, сверху, снизу — отовсюду вдруг зашелестело, точно в лесу тысячи листьев разом зашевелились, и на Ваню как бы ветром пахнуло. Вот тебе на! Это ведь обои на стенах проснулись, заколыхались, заговорили.

— Всякий из вас пожил, господа, правда, — шелестели обои. — Но все же, сколько бы вас тут ни было — будь вы из дерева или из железа, из глины или из стекла, — все вы живете вашу первую жизнь и второй жизни вам нет и не видать.

— А вы-то что же, вторую жизнь живете? — прозвенел графин.

— А то как же? — отвечали обои. — Наша первая жизнь была тряпичная, наша вторая — бумажная. Сколько лет нас люди платьями, бельем носили, пока мы на них в лохмотья, в отрепья не изорвались! Тут бы, кажется, нам и конец? Ан нет! Тут выручили нас наши новые крестные — тряпичники: «Буты-лок, банок! Костей, тря-пок!» Сгребали тряпье и из домов, и из сорных ям, а пона-

бравши целый воз — марш на бумажную фабрику.

— Славная компания! — сказал брезгливо графин. — Да на один воз вашей грязной братии двух возов мыла недостало бы!

— Да-с, вашим комнатным мыльцем с сальным тряпьем немного поделаешь, — сказали обои. — Нас, сударь мой, в трех кипятках да в трех щелоках проварили, нас трепалкой в мелкую кашу истрепали, изодрали, — хоть «караул!» кричи. Зато же уж и насквозь пробрало. А рядом, в другом чане, тут же, свежей водой окатили, — так всю грязь как рукой сняло! Стала каша чистая, аппетитная — хоть сейчас кушай! Только чистоте нашей люди и тут не поверили: чтобы от прежней дряни в нас и духу не осталось, хорошенько еще нас продушили.

— Одеколоном, верно? — сказал графин.

— Как бы не так! Хлорною водой, сударь мой. Пахнет она, правда, вовсе не духами — расчихаешься, раскашляешься; зато очистит, убелит как снег.

— А дальше что же было?

— Дальше — пустяки, прогулка одна. По-

умывшись, убелившись, вытекли мы кашицею из крана на проволочную сетку. А сетка на колесах, идет себе вперед да вперед, да трясется еще при этом с боку на бок. Вода-то из кашицы и сбегает сквозь сетку, а там остается одна густая бумажная масса. Навстречу тут два валика. Проходит масса меж валиков и выходит из-под них уже не массою — настоящею плотною бумагой. Только сыровата еще она. И идет она все дальше, идет по мягкому войлоку. Опять навстречу ей два валика, не холодных уже, а нагретых. Продирается она опять меж них и вылезает оттуда уже совсем сухою. Скоро сказка сказывается, да скорее дело делается: только что жидкою кашицею были, глядь — и бумагою стали.

— Да ведь вы, обои, не простая же бумага, — сказал графин, — а все в узорах? Грунт — серый, а по нему все цветочки да цветочки, листики да листики.

— А это уже нас на обойной фабрике разрисовали, — отвечали обои. — Сперва навели кистью серую краску для грунта, потом взяли деревянную форму с вырезанными цветочками, обмакнули в малиновую краску, подави-

ли на бумагу — вышли цветочки; взяли другую форму с вырезанными листочками, обмакнули в зеленую краску, опять надавили — вышли листики. Узор хоть и простенький, а миленький. Не правда ли? Никому тут на глаза не лезем, а в комнате от нас все же веселее и уютнее. Пользу приносим, а сами ни гу-гу.

— Полчаса слышим, как-вы ни гу-гу, — раздался тут с нижней полки насмешливый голос, и Ваня сейчас догадался, что это говорит его любимая книжка, в которой такие хорошенькие истории — смешные до слез и грустные до слез. — Мы, книжки, тут все тоже из бумаги, тоже с узорами, но с какими!

— Хорошие узоры! — сказали обои, — черные только крючки какие-то, буквы, что ли...

— А из букв-то этих что составляется? Слова! А из слов? Целые рассказы. Послушать — уши развесишь. И мы тоже живем другую жизнь. Но первая жизнь наша, тряпичная, была только для тела: одевали, грели, а теперешняя, бумажная, для души: и ум расшевелим, и сердце развеселим.

— Да где же и кто вас так распечатал?

— Где? В печатне, в типографии. А кто? На-

борщики. Набрали оловянных выпуклых букв — литер в слова, смазали сверху краской и отпечатали на бумагу.

— А кто же рассказы-то выдумал? Они же, наборщики?

— Нет, это не их ума дело: на то есть свои люди — писатели. Писатель все видит и все слышит, да потом пером и опишет. И вас всех, господа, сколько вас тут ни есть, опишет; а наборщики наберут вас в слова и отпечатают в книжку; смотрите же, глупостей не говорить.

— Вот еще! И глупостей даже не говорить! — закричали голоса со всех сторон. — Точно мы ничего уже не значим! Точно горя и бед всяких не натерпелись! За что же это, за что?..

И кругом поднялся такой гвалт, такой гам, что хоть уши заткни.

VI

Между тем стало рассветать, и в комнату из-за шторы блеснул первый луч солнца. В клетке над окошком висела Ванина канарейка. Она вдруг встрепенулась и запела, — запела так весело и звонко, что шум в комнате разом затих.

Что же пела она? — А вот что:

— Не шумите! Не тужите! Что было, то сплыло; что сплыло — забыто, слезами вон смыто. Взошло солнце, пригрело и душу, и тело, — наслаждайтесь! Упивайтесь! Сами смело за дело. Хоть бы век понемножку так прожить — и слава Богу!

За занавеской спала Ванина няня, и она от пения канарейки проснулась, выглянула к Ване.

— Э, батюшка! Певунья наша и тебя никак разбудила.

— Ах, няня! Няня! — вскричал мальчик. — Да ты разве не слышишь, что она поет?

— Что поет? Известно, Бог горло дал, ну, и дерет. Да у тебя, голубчик, что глазенки так разгорелись? Не сов ли какой хороший, ви-

дел?

— И какой еще, няня! А может быть, и не сон... Вся комната тут говорила!..

— То есть как так комната говорила? Что-то в толк не возьму...

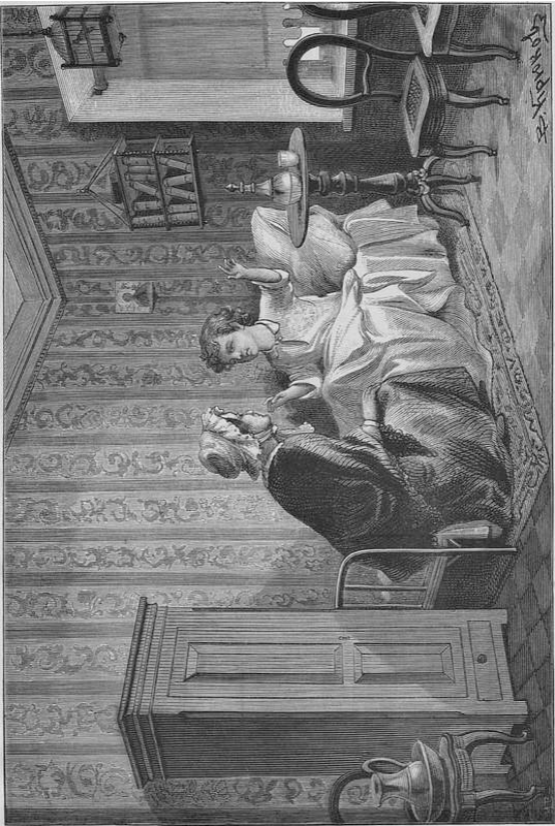
— А вот я тебе расскажу. Послушай...

И стал он рассказывать. Слушала няня да только головой качала.

И вы, друзья, кажется, головой качаете? Не верите, чтобы комната могла говорить?

Раскройте глаза ваши, раскройте уши, глядите кругом и слушайте хорошенько: не только комната — весь мир вокруг вас внятно заговорит.





Ed. P. Knapp

ИЗДАНИЯ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ФРЁБЕЛЕВСКАГО ОБЩЕСТВА.

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------|
| В. И. Авенариусъ. | Что комната говоритъ..... | Цѣна 50 коп. |
| „ | Сказка о Пчелѣ Мохнаткѣ.... | „ 30 „ |
| Ил. Дм. Смирновъ. | Подпасокъ..... | „ 50 „ |
| О. И. Шмидтъ. | Ласточкино Гнѣздо..... | „ 50 „ |
| И. Г. Вучетичъ. | Красный Фонарь..... | „ 30 „ |
| А. Г. Лякидъ. | Третій Червонецъ..... | „ 30 „ |

Складъ изданій въ С.-Петербургѣ, по Большой Свасской улицѣ, въ 1-ой С.-Петербургской Военной Гимназін, у П. И. Рогова.

Покупающимъ болѣе десяти экземпляровъ cadaго разсказа дѣлается уступка въ 20%, покупающимъ сто и болѣе экземпляровъ cadaго разсказа — 25%. За упаковку и пересылку отъ одного до десяти экземпляровъ прилагается по 5 коп. съ cadaго экземпляра, отъ 10 до 50 экз. — по 4 коп., отъ 50 до 100 экз. — по 3 коп., отъ 100 до 200 экз. — 2½ коп., свыше 200 экз. — по 2 коп. съ cadaго экземпляра.
